

# В БАЛЧЕКОВЫ

БЕРЛИНСКАЯ ЛАТУНЬ

Спасет ли  
любовь?

18+

ЛАУРЕАТ  
«РУССКОЙ  
ПРЕМИИ»

Рискованные игры

Валерий Бочков

**Берлинская латунь (сборник)**

«ЭКСМО»

2018

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

**Бочков В. Б.**

Берлинская латунь (сборник) / В. Б. Бочков — «Эксмо»,  
2018 — (Рискованные игры)

ISBN 978-5-699-99064-1

Глинтвейн и рождественские гимны, русские иммигранты-грабители и немец-спасатель, мрачный англичанин – специалист по истории Третьего рейха и экскурсии в «подвалы гестапо». Все это было бы не важно, если бы не старый самовар с загадочной надписью на боку, купленный в Берлине на рождественском базаре. Какие загадки таит в себе этот бесполезный сувенир?

УДК 821.161.1-31  
ББК 84(2Рос=Рус)6-44

ISBN 978-5-699-99064-1

© Бочков В. Б., 2018  
© Эксмо, 2018

## Содержание

|                                   |    |
|-----------------------------------|----|
| Берлинская латунь                 | 6  |
| 1                                 | 6  |
| 2                                 | 9  |
| 3                                 | 14 |
| 4                                 | 17 |
| 5                                 | 21 |
| 6                                 | 23 |
| 7                                 | 26 |
| 8                                 | 29 |
| 9                                 | 31 |
| Конец ознакомительного фрагмента. | 32 |

# **Валерий Борисович Бочков**

## **Берлинская латунь**

© Бочков В., 2018

© Оформление. ООО «Издательство «Э», 2018

\* \* \*

## Берлинская латунь

### 1

В моем американском путеводителе написано: «Декабрь в Берлине хмур, и город может произвести недружелюбное впечатление». Типично американское жеманство – мы вышли в непроглядную темень, промозглую и сырую. Сырость чуть-чуть не доползла до точки замерзания и сыпала колючей гадостью в лицо.

– Такие вещи нельзя показывать детям. – Мария сердито подняла воротник и, заведя своим локтем, потянула в сторону мутных огней Фридрихштрассе. – Просто не пускать с детьми, и все!

Выставка называлась «Топография террора». С немецкой дотошностью тут были собраны, классифицированы и выставлены тысячи документов, относящихся к истории СС. От начала двадцатых, от банды Шрека – дюжины пьянчуг, охранявших Адольфа во время его задиристых речей по пивнушкам Мюнхена, до рейхсколосса – гипертрофированной государственной структуры со своей кавалерией и танковыми частями. Кавалерийская дивизия игриво именовалась «Мария-Терезия» и каким-то образом избежала наказания в Нюрнберге.

В чернильном небе над низкорослым провинциальным горизонтом торчала телебашня с мерцающим стальным шаром – там смотровая площадка и дрянной ресторан, который мы спонтанно посетили накануне. После их венского шницеля я до полуночи глотал соду, мучаясь от свирепой изжоги. Впрочем, панорама из ресторана открывалась потрясающая.

Мария ткнулась холодным носом мне в щеку, от волос пахло незнакомым гостиничным шампунем – что-то фальшиво-еловое. Мостовая шла с едва уловимым уклоном, мы наступали на свои тающие тени, постепенно они слились с влажной чернотой асфальта. Мы вошли во мрак. Справа и слева таинственно темнел неосвещенный пустырь, там вполне могла таиться бездна, или пашня, или вообще что угодно. Слева бледнел кусок Стены, оставленный немцами на память самим себе о неукротимой настырности социализма, в данном случае не национального, а демократического.

– Знаешь, когда мне было девять лет... – начала Мария и сделала паузу.

Я знал: «...мы путешествовали по Европе, и в Амстердаме отец повел нас в музей Анны Франк». Слышал эту историю два раза, но, не сказав ничего, поощрительно кивнул, и она продолжила:

– Мы путешествовали по Европе, и в Амстердаме отец повел нас в музей Анны Франк. Такой обычный голландский дом – узкий, с крутыми тесными лестницами... на каком-то канале.

«Принсенграхт», – подумал я. В Амстердаме я бывал часто, играл во всех трех залах Концертгебау – в Зеркальном зале, на мой взгляд, лучшая акустика в Европе. Мне только исполнилось двадцать девять, был ранний апрель, с Королевским симфоническим мы записали ля-мажорный концерт Листа и «Пляску смерти» – сказочное время.

– Там была одна фотография, мутная, черно-белая. – Мария говорила тихо. – Из-за этой мути еще более жуткая... Знаешь, когда самые страшные детали сознание само додумывает?

Я кивнул, разглядывая пунктир красных огоньков, пульсирующих по игле телебашни.

– Их подвесили на крюках, как в мясной лавке. Ее и сестру. Или мать – я не помню, я лишь мельком взглянула и сразу зажмурилась. А потом мне это снилось: мясницкие крюки, сапоги по лестнице... Ахтунг, шнеллер! Снилось, что я под кроватью, они по полу фонариком рыщут, топают, ругаются. Немцы...

Я снова кивнул.

– И все из-за одной фотографии. – Она поежилась, шмыгнула носом. – О чем он вообще думал, когда тащил туда девятилетнего ребенка?

Я видел ее отца, основательного здоровяка в рубаше цвета закатного неба, всего однажды. На День благодарения. В Калифорнии. Не знаю про Амстердам, но там, в Санта-Монике, он явно прикидывал, сколько я еще собираюсь морочить голову его дочери. Мы остались на веранде вдвоем, под ногами скакали наглые калифорнийские воробьи, бойко стуча клювами в рыжую кафельную плитку. Я жмурился на солнце, тянул из горлышка лимонад, изображая райское блаженство. Так у них в Лос-Анджелесе принято. Он внимательно чистил апельсин перочинным ножом, стараясь не порвать длинную ленту кожуры. Оранжевые кольца змеились по поддельному мрамору стола. Очистив, молча протянул апельсин мне.

От одного воспоминания у меня поднялась изжога. Ехать с Марией в Берлин было глупостью. А еще трусостью и подлостью. Рубить надо было тогда, в начале декабря, когда возвращались из Хэмптона. Мария сама затеяла разговор, беспомощно и нервно обвиняя меня в эмоциональной дистрофии и душевном инфантилизме, что было правдой, но далеко не всей правдой. С торопливостью труса я перебил ее туманными заверениями, скомканными и косноязычными. Момент был упущен – и вот мы в Берлине.

– Еще звезды эти желтые. Им давали выкройки, представляешь? Выкройки и инструкции, куда ее пришивать, сколько там сантиметров от плеча, сколько до локтя. – Мария засеменила, пытаясь приладиться под меня. – Представляешь? Я бы просто не стала пришивать, и все.

Из тьмы слышались шаги, потом, шаркая, выплыл силуэт.

– Да. Иду по дороге. – Человек прижимал телефон к уху, половина лица мерцала сизым. – Темно. Ничего не видно. Какие-то люди идут навстречу. Темно, не понять.

Мария хмыкнула, потом повторила:

– Не стала бы, и все.

– Ну так ты ведь и не еврейка.

– А ты бы стал пришивать? Ведь ты ж наполовину...

– На четверть, – перебил я. – На четверть.

Мое отношение к еврейству – как в частности, так и в целом – простым не назовешь. С одной стороны, бабушка Лида (даже с того света, хотя иудеи и не верят в загробные кущи, что меня тоже несколько настораживает) дала моим родителям бесценный шанс уехать и увезти меня из подыхающей империи. А с другой – наша израильская виза оказалась лишь пропуском в свободный мир: ни у кого и в мыслях не было поднимать целинные земли Израиля. Так что наша семья, впрочем, как и миллионы других бывших совграждан, совершила классический тур Вена – Италия – Америка, оставив Землю обетованную при ее трюфовом интересе. Малолетство мое может сойти за оправдание – тогда мне исполнилось лишь четырнадцать.

Корявыми контурами выплывали голые липы, потянуло теплом и едой. Опасливо выглянула луна и тут же исчезла в рваной прорехе. Мы выбрали наконец на Фридрихштрассе. Темень перетекла в морозящую зыбь желтых фонарей, казалось, тротуар был мелко усыпан битым стеклом.

Посередине проезжей части громоздилась фанерная будка пропускного пункта Чекпойнт Чарли – тут когда-то проверяли паспорта путешественников из капитализма в социализм и обратно. Дородная голландка, изрядно пьяная, позировала между двумя молодцами, наряженными солдатами, американцем и гэдээровцем. Они лениво помахивали мокрыми тряпками больших флагов. Голландцы мигали вспышками, гортанно чем-то восторгались, девица хохотала, потом стала звучно икать. Мария не удержалась, выудила из кармана камеру, незаметно сделала пару снимков. Откуда-то потянуло сторовыми сосисками.

Мария права: духовный инфантилизм – моя беда, у меня душа даже не ребенка (поскольку ребенок-то как раз чист), у меня душа примата, макаки-резуса. Душа-зародыш. А может, даже и зародыша там нет, так, доброкачественная опухоль. Ведь бывает же ложная беременность со всеми внешними признаками, включая утреннюю тошноту и соленые огурцы? Я пытаюсь понять, как возник этот изъян, что и где нужно жечь каленой сталью, как укус гадюки. Если, конечно, еще не поздно и яд не успел растечься по всему телу, по всем органам. Не успел отравить мозг и сердце. Особенно сердце.

Тогда в машине, возвращаясь из Хэмптона, я уверял Марию в своей любви. Я не врал. Я продирался на ощупь беспомощными словами, корявыми и угловатыми. Упирался в глухие тупики, все запутывалось, становясь пошлым и глупым. Я не умею выражать чувства словами, всю жизнь меня учили другому.

Голландка звонко икнула, подалась вперед, и ее шумно вырвало на мостовую. Солдаты, отпрянув, прикрыли сапоги флагами, друзья-туристы заржали и принялись щелкать камерами, тут же отправляя снимки в Сеть.

– Ты можешь вообразить, что предки вот этих вот... – Мария брезгливо кивнула, – несколько веков назад переплыли океан и основали Манхэттен?

Она отвернулась, я обнял ее. Мы пошли в сторону Жандарменмаркт.

## 2

Не открывая глаз, я уже видел вязкое сырое небо. Будто политый черным лаком, сиял мокрый купол Французской церкви с вызывающе золотым ангелом на маковке; чуть левее, за невысокими крышами – двуглавая деревенская кирха в Николаифиртель, еще дальше маячила неизбежная телевышка. В брешь дремоты проник бой часов на какой-то башне, глухой и тягучий, словно звонили под водой. Звук, мешаясь с остатками сна, тянул и тянул в блаженную бездну. Вкралась какая-то неточность, пошла рябь, вот ангел растаял над куполом, исчез и купол, все куда-то сладко потекло, похоже, в сторону счастья. Кто-то прошептал: «Тихо... молчи. Пусть говорит ветер». Я согласился: «Пусть». «Ты ведь все равно никогда не скажешь лучше и яснее, чем это сделают белые облака своим скольжением по голубому небу». – «Я и не пытаюсь», – снова согласился я. «Вот и не пытайся», – прошептал кто-то.

Заснуть оказалось легче, чем я предполагал. На грани сознания и дремы возник толстый красивый военный, улыбчивый и хитрый. Палевый мундир, золотые крученые аксельбанты, в петлицах – бронзовые пропеллеры. Бывший пилот Геринг. Он предложил название «эскадрилья прикрытия», хоть уже давно не летал, но любил щеголять авиационными терминами. «Шутцштаffel» звучало хлестко и энергично. Сокращенно СС – тоже неплохо.

Гитлер никому не доверял разработку визуального бренда своей партии, сам усердно царапал наброски в карманном блокнотике на пружинке. Символом СС стали две белые руны «зиг» на черном фоне.

Адольф, послунявив карандаш, затушевывал покрепче фон, обвел контуром в виде щита. Художник он был неважный, без фантазии, знал это и пытался компенсировать хромой талант усердием. Начитавшись Кюммера, Гитлер верил, что руны служат мостом, соединяющим человека с древними арийскими богами. Каждая руна соответствует определенной позе. Он выставлял руки углом вбок и торжественно говорил:

– Кауна! Я – факел! Кауна! Ты чувствуешь жар, Мартин? – Фюрер, сияя мальчишеским задором, топырил тощие пальцы. – Я направляю рунический поток!

Руническая магия (как он считал) позволяла управлять различными энергетическими потоками, излучаемыми пятью космическими сферами. Для этого нужно лишь принять правильную руническую позу и настроить сознание на восприятие потока энергии, повторяя магическое заклинание. Рунический звук. В случае с огнем заклинанием было слово «кауна».

– Кауна! Жар! Ты чувствуешь жар?

Мартин не отвечал, у Мартина не было лица, лишь бледное пятно. Сознание растерянно шарило, впопыхах что-то нащупав, вытянуло и показало. Не то! Печеная голова министра пропаганды, черная, с беличьим оскалом и дырками вместо глаз. Вот гадость! Пытаясь стряхнуть видение, нырнул глубже, но сволочь Йозеф все испортил: за ним поплыли грязно-серые тела, голые, похожие на сломанных кукол без признаков пола, удивленно распахнутые печи крематория, кирпичные трубы с жирным дымом. Железный бульдозер сгребал тела в груды. Выбора не оставалось, я проснулся.

Дождь почти перестал. С площади донеслось нытье саксофона, кто-то фальшиво выдувал Гершвина. У бордюра стояло кремовое такси со спящим брюнетом за потным стеклом. Вспугнув пару голубей, мы перешли через пустую улицу, Мария на ходу пыталась отцепить шарф, пойманный на крючок сережки.

Ветер пахнул чем-то жареным на углях, почти дьявольский запах для столь раннего часа. За маскарадной аркой с суетливо моргающей неоновой надписью «Вайнахтсмаркт» бледнели тугие шатры местной ярмарки. На шпильях шатров топорщились желтые звезды, похожие на морских ежей. В центре, где летом бил фонтан, высилась исполинская ель в

разноцветных огнях. У полосатой будки при входе ряженный гренадер отрывал билеты. Делал он это строго и серьезно.

Мария замешкалась, выудила мелочь, наклонившись, опустила в футляр саксофониста. Тот, продолжая дудеть, улыбнулся ей бровями. На дне футляра валялись одинокая бумажка и несколько монет. Я отвернулся: все, что так или иначе касалось музыки, я воспринимал нервно и почти лично. И этот рыжеватый тип в войлочном буром пальто, с альт-саксофоном, казался мне почти родственником, вроде сводного брата. Того самого, которого ненавидишь и стыдишься и готов вычеркнуть из жизни. И которого жаль до слез.

На кованой инквизиторской жаровне – решетка висела на цепях, под ней в чугунном котле пылали угли – пеклись румяные сардельки из Тюрингии. Кожица лопалась, сок, шкворча, тек в огонь, в дыму и колбасном духе проворная девка орудовала кочергой. Другая, с ядреной шеей, весело наливала пиво. Я проглотил слюну и отвернулся.

В соседнем шатре торговали щетиной. Густобровый немец, с сединой в усах и широкой бороде, щурясь, с едва заметной ухмылкой разглядывал народ. Он явно знал про щетину что-то, о чем не догадывались наивные гуляки. Тут были кисти и щетки всех размеров и форм: щетки для одежды, для чистки обуви, какие-то микроскопические шомполы для чистки труб муравьиных диаметров, тут же щетка-великан – этой запросто можно надраить паркет в целом Версале. Я взял помазок для бритья, тронул упругую щетину ладонью. Немец хитро глянул на меня.

– И сколько? – спросил я неуверенно.

– Это бобер, – уклончиво ответил дядька. – Но летний.

– А зимний? – Я чувствовал, что втягиваюсь в какую-то игру. И оказался прав – бородач тут же выставил шесть помазков.

– Это зимний. – Он указал на один. – Бобер из Шварцвальда. Но не хвост.

– А этот? – Я ткнул в белесую кисть с точеной ручкой из липы.

Немец лишь посмотрел искоса. Подавшись вперед, проговорил вполголоса:

– Свиная. – Он чуть покачал головой, словно подавая тайный знак. – Жесткая, очень жесткая. Но старики любят, они привыкли. Любят, когда жестко.

Я подумал о тех стариках и представил, как они привыкали: простор и зной, кругом перезрелая рожь, на горячей броне «Тигров» белобрысые пацаны мылят щеки, ловко орудуя свиными помазками. Привыкают.

– Вот! – Дядька со стуком выставил на прилавок кисть, словно объявлял мне мат. – Вот! Зимний бобер, район Вислы и Одера. А главное – хвост!

Я покорно кивнул.

Грянула музыка. Мария потащила меня к елке, звуки веселья раздавались оттуда. Я выудил из кармана помазок и показал ей.

– Это что?

– Бобер с Вислы.

Вокруг сцены всюю торговали глинтвейном, горько пахло мускатным орехом и корицей, горячим вином. Глювайн (так ласково, с голубиным воркованием называют этот напиток в Берлине) из дымящихся чанов разливали по керамическим кружкам. Мужик с лицом хулигана, но в роскошном цилиндре, выдал нашу порцию, сообщив, что берет пятерку под залог кружек. Подмигнув, предложил плеснуть в глинтвейн рому. Я согласился.

Алкоголь до полудня не входит в мой обычный рацион. Ром шибанул в нос, от горячего вина тут же поплыла голова. Я в три глотка прикончил свою порцию. Погода заметно улучшилась, музыка стала почти терпимой, Мария... Впрочем, Мария всегда была восхитительна. Она мне что-то говорила, я улыбался, согласно качая головой. Мимо текли милые немецкие лица: две кармелитки, неразличимые, как близняшки, обе в черном и в одинаковых белых наколках, с ангельской радостью взглянули на меня, рыжий пацан кормил толстую

таксу шоколадом, та урчала и крутила упругим хвостом, усатый шарманщик в шляпе с пером весело вращал ручку пестрого ящика (на крышке была нарисована принцесса в лазоревом платье, из-за угла к ней скакал рыцарь, пробиваясь через золотые виноградные гроздья). Дородная красotka в тесном баварском костюме с пестрыми лентами василькового цвета раздавала с подноса вишню в сахарной пудре и ломтики яблочного пирога.

Наверху загорелся край облака, не спеша вынырнуло солнце, площадь с ярмаркой и двумя церквями по флангам тронулась и нежно поплыла. Я зажмурился и благодарно поставил лицо солнцу.

– Смотри! – Мария дернула меня за рукав. – Смотри!

Я открыл глаза. Это был самовар.

В шатре торговали старой дребеденью, выдаваемой за антиквариат, строгая готическая надпись на вывеске уверяла в этом.

– Все... – тихо сказала она. – Мы его сейчас купим.

Я молчал.

– Ты же знаешь, как я хочу настоящий самовар.

Я знал. Помнил, как загорелись ее глаза, когда, гуляя по набережной в Кони-Айленд, мы натолкнулись на мелкий развал разномастного хлама, разложенного на трех русских газетах тут же на обочине. Среди сюрреалистического винегрета из монет, наручных часов, гжельских чашек, значков «Снайпер», армейского бинокля в кожаном футляре и настоящего паспорта на имя гражданки Ковальчук стоял самовар. Настоящий тульский самовар.

Хмурый мужик, словно перенесенный сквозь пространство и время из моего детства – такие угрюмцы маялись по утрам у магазина «Вино-воды» на углу Тишинки и Второй Зоологической, – заломил невозможную цену. Мария торговаться не любила, потому что не умела. Мужик мрачно повторил «пятьсот», Мария беспомощно взглянула на меня, я пожал плечами, и мы пошли дальше, вдоль пестрого пляжа в сторону огромного «чертова колеса».

Здесь самовар стоил в пять раз дешевле. Торговка, немолодая немка, похожая на артистку Раневскую, почуяв поживу, оживилась.

– Очень хороший! Очень! – азартно заявила она. Ее английский был так себе, она пыталась компенсировать хилый словарный запас страстным напором. – Зер гут! Экстра квалитет!<sup>1</sup>

– Зер гут... – повторила Мария, поглаживая тусклое пузо самовара. – Хабен зи... Кеннен зи... короче, как он к вам попал? Откуда? Вы знаете его историю?

Я отвернулся, улыбаясь. В этом была вся Мария – ее не интересовали вещи как таковые, для нее важнее всего была история предмета. Она презирала новую мебель, ненавидела современное жилье – мы жили в Гринвич-Виллидж в допотопном, узком, как пенал, доме с покатым полом и античной канализацией. По комнатам гуляли сквозняки, скрипучие двери не хотели закрываться, а в форточки лез плющ, которым окончательно зарос фасад. Но все это меркло рядом с фактом, что дому было почти сто лет и тут (по слухам, явно исходившим от мерзавца-арендатора) бывал сам Уорхол. В глухие предзакатные часы, когда я мучаюсь от бессонницы, мне приходят темные мысли, что я сам для нее не личность, живой человек Дмитрий Спирин, а любопытный артефакт с занятной историей – эмигрант, загадочный русский, не оправдавший надежды вундеркинд.

– Медный антиквариат! – Раневская выпятила круглую грудь в малиновом жакете. – Очень хорошая цена.

– Что она сказала? – повернулась ко мне Мария.

– Чушь несет, говорит, что из меди, – тихо ответил я. – Медь красная. А этот...

– А этот?

---

<sup>1</sup> Превосходное качество! (нем.)

Самовар нуждался в чистке, он был тускл, в зеленых проплешинах патины. Я провел пальцем по вмятине на боку, повернул кран туда-сюда, брезгливо отряхнул перчатки.

– Этот? – В конце концов, я тут был единственным русским, не считая самовара. – Этот сделан из латуни. Латунь!

– Что такое латунь? – Мария любила точность во всем.

– Латунь, – уверенно начал я, – латунь – это сплав меди с... с другими металлами. Видишь, он желтый. Значит, не медь.

Немка настороженно наблюдала, пытаясь понять, о чем идет речь.

– Спроси, откуда у нее самовар, – попросила Мария.

В школе при Гнесинке я учил немецкий, иногда мне удается извлечь кое-какие языковые обломки из памяти, неизменный эффект производила декламация первых строф «Лоре-леи», по непонятной причине навсегда засевших в моей голове.

– Она вообще не в курсе, – после короткой, но мучительной лингвистической пытки заявил я. – Кто-то принес, ее сестра купила. Похоже, она даже не знает, что это такое.

– Как это? – Мария недоверчиво посмотрела на меня. – Тогда тем более!

Она достала бумажник.

– погоди... – Я знал, что это безнадежно, но продолжил: – Как мы эту дуру попрем? Через границу, аэропорт? В багаж нельзя, грузчики его угробят. А для ручной клади он велик. Да и потом, он наверняка течет. Где ты собираешься его лудить на Манхэттене?

– На Брайтоне наверняка есть старые русские мастера, – отрезала Мария, отсчитывая купюры. – И пожалуйста, прекрати свой славянский негативизм, может, он и не течет вовсе.

Самовар оказался тяжел, как грех, я не подавал вида, но благодарил бога, что до отеля три шага. Невозмутимый швейцар распахнул дверь, консьерж сдержанно кивнул, пожилая пара скандинавских туристов проводила нас странным взглядом. Мария не к месту пожелала всем: «Гутен абенд!»<sup>2</sup> – это уже из лифта.

– Ну и как эту сволочь тащить в Америку? – проворчал я, с грохотом опустил самовар в дальний угол, между нашими пустыми чемоданами.

– Слушай! А может, его русские солдаты привезли? – Мария схватила меня за руку. – Представляешь? Когда наступали на Берлин?

Я застонал, как от зубной боли. Тут же представил себе чумазных славян, облепивших броню «тридцатьчетверки», несущейся по Унтер-ден-Линден в сторону Бранденбургских ворот, солдаты все в медалях, весело палят из автоматов по окнам. Палят короткими очередями. Между очередями пьют чай. На башне танка дымит самовар.

– Чушь. – Я залез в холодильник, достал пиво. – Это чушь. Его приволок какой-нибудь поволжский Шульц или Мюллер, тракторист или комбайнер. В начале девяностых, после Стены они из Казахстана сюда косяком поперли.

– Кто попер? Куда? Почему Шульц?

Я отмахнулся, глотая ледяное пиво прямо из горлышка.

– Тут что-то написано. – Мария наклонилась. – Вроде клейма. Только из-за плесени ничего не разобрать.

– Не плесень, патина. – Я лениво поднялся, прошел в ванную, вернулся с полотенцем и тюбиком зубной пасты. – Где? – спросил небрежно.

Выдавив пасту, я размазал ее полотенцем по части круга, там, где проступали какие-то знаки. Мария замороженно следила за процессом. Я отпил пива, немного брызнул на засохшую пасту.

– Пиво?! – прошептала Мария.

– Спокойно. – Я был невозмутим.

---

<sup>2</sup> Добрый вечер (нем.).

Случилась некая химическая реакция, пиво дало обильную пену, я тут же с силой начал тереть. Убрал полотенце; очищенная часть крышки сияла.

– Как золото! – восхищенно прошептала Мария. – Надо же...

Я сам не ожидал, но, не подав виду, неспешно допил пиво и сунул бутылку в мусорную корзину. Мария подтащила самовар к окну.

– Медали... – Наклонившись, она водила пальцем по металлу. – Ну что ты там бродишь? Тут же на твоём языке написано, что, прочитать трудно?

Самовар, как и полагается приличному самовару, был родом из Тулы. Изготовлен на фабрике братьев Баташевых в 1867 году, рядом с фабричным клеймом теснились медали – пять штук в ряд. Разобрать без лупы, кто и за какие заслуги наградил наш самовар, оказалось невозможно.

– Эй, гляди! А это что? – Согбенная Мария разглядывала спину самовара. – Ноты! Точно, ноты...

Я поднял его, тяжелого черта, плюхнул в кресло. На задней стенке разобрал гравировку: нотный стан, ключ, несколько нот, разбитых на два такта. Мария, отодвинув меня, быстро выдавила пасту и принялась усердно тереть самоварный бок.

– Пивом надо полить, – бросила она, не оборачиваясь.

Я принес из ванной стакан воды.

Кроме нот, там была выгравирована надпись: *Herzlichen Glückwunsch zum Geburtstag, meine liebe Anne-Lotte Dein Kurt-Kaninchen*<sup>3</sup>.

– Ну? – нетерпеливо спросила Мария. – Канинхен – это фамилия?

– Вряд ли... – Я провел пальцем по нотах. – Это «кролик». Вроде «целую крепко, твоя зайка»... Погоди...

Я облизнул губы и просвистел мелодию – два такта в соль-мажоре, всего девять нот.

– Что это? – Мария ласково поправила мне воротник рубашки. – Ты знаешь эту музыку?

– По двум тактам... – Я просвистел снова. – Хотя вроде... Звучит как шлягер. Или народное что-то. Но точно не Гендель.

– Кстати! Про Генделя! – вспомнила Мария. – В семь – концерт во Французской церкви.

---

<sup>3</sup> Моей любимой Анне-Лотте в день рождения с сердечными пожеланиями счастья. Твой кролик-Курт (нем.).

## 3

Справа от алтаря, у амвона, стояла елка. Высокая, метра три, с пышной хвоей, я сразу уловил смолистый лесной дух. Немецкий аскетизм даже в украшении, никаких рубиновых шаров, золотых лент и прочей цыганской чепухи – строгие огоньки простых лампочек, без подмигиваний, на макушке – белая слюдяная звезда.

Вообще, душа немца должна петь уже на подходе, Жандарменмаркт – апофеоз архитектурной симметрии: Французская церковь была точной копией Немецкой церкви, одна замыкала южную оконечность площади, другая – северный фланг. Между ними громоздился Берлинский концертный зал – архитектурный двойник московского Большого, тоже с колесницей и Аполлоном на крыше. Неумолимую симметрию довершал памятник Шиллеру в центре площади, тоже симметричный и тоже на симметричном постаменте. Памятник был заложен в день столетия поэта и открыт точно через десять лет. Если площадь сложить пополам, то совпадение архитектурных элементов оказалось бы стопроцентным. Название площади – Жандарменмаркт – чуть царапает русское ухо: тут же представляется царский держиморда, красношей, со злыми усищами и саблей на боку. На самом деле площадь обрела свое имя благодаря элитному полку прусских кирасиров-жандармов, чьи конюшни были разбиты здесь по приказу Фридриха Вильгельма почти триста лет назад.

Зал наполнялся, я разглядывал немецкие лица, Мария вынула аппарат, щелкнула двух тихих детей, дисциплинированно изучавших елку. Показала фото мне.

Для церкви здесь было слишком светло, впрочем, сейчас храм работал концертным залом. Вполне светским – в программу, помимо неизбежных в органном деле Генделя и Баха, попали французские импрессионисты и даже почти наш Чюрленис со своим прелюдом. Я сложил программку и вернул Марии, она придвинулась ко мне, коснулась губами моего виска. Я заметил мельком наши отражения в витраже, в темно-синем стекле – ее профиль, мое туманное лицо. За спиной на хорах что-то зашуршало, зал притих, кто-то смущенно кашлянул.

Зазвучал d-moll первого контрапункта «Искусства фуги». Я играл его на фортепьяно, хотя бог его знает, для какого инструмента писал Бах – в партитуре нет на это никаких указаний, но органная версия тоже вполне уместна. Мария чуть отодвинулась от меня – из уважения к Баху, скорее всего. Рука, покинув мою ладонь, прилежно легла на лакированный поручень кресла. Я прикрыл глаза, и тут же мои пальцы заскользили по клавишам, с безупречностью зеркала повторяя каждую ноту, каждый звук, замирая в паузах, словно на полувздохе, и снова бросаясь очертя голову в гудящий лабиринт звуков. Контрапункт третий, четвертая fuga: тему начинаем с ре-минора, модулируем в ля-минор, затем переходим в ля-мажор и успешно возвращаемся в ре-минор. Вот еще одна тема в ре-миноре: я встретил Марию в ноябре, в самом конце ноября. Три года назад. Три года и один месяц – будь я немцем, уточнил бы. Ноябрь на Манхэттене запросто загоняет в депрессию даже матерого оптимиста: октябрьские воспоминания о перламутровом мареве над Ист-Ривер, тыквенно-рыжем ковре шуршащего Центрального парка, неумолимо светлеющего и будто тянущегося ввысь, – все это к концу ноября выдыхается и переходит в разряд грез. В ноябре число самоубийств в Нью-Йорке возрастает на семь процентов и является самым высоким. Апрель – неизменный оптимист, что, впрочем, вполне объяснимо. Меня привезли в реанимацию госпиталя имени Рузвельта, потом сестра сказала, что меня спасли в той самой комнате, где умер Леннон. Четыре пули «дум-дум» разорвали все внутренности, у Джона не было ни одного шанса, даже если бы его застрелили в операционной. По больничной легенде, в момент смерти по местной трансляции случайно крутили «Битлз».

Я не помню, что передавали, когда привезли меня, скорее всего, какую-нибудь гадость из репертуара массажных кабинетов или комнаты ожидания зубных врачей. Я не Леннон, для меня не нашлось пуль «дум-дум», чертовы нижние соседи оказались дома и сразу увидели темное пятно, расплывавшееся по потолку. Это была красноватая вода, которая переливалась через край моей ванны.

Больше всего я хотел поселиться в госпитале навсегда, но к концу месяца меня выпи-сали. Оказалось, что я ничего не умею. Мелькнула даже шальная идея стать полицейским, хотя вряд ли бравый полицейский департамент Нью-Йорка польстился бы на пианиста-лауреата с суицидальным уклоном.

Беда была в том, что в деньгах я не нуждался. Даже после покупки дома во Флориде для матери и ее нового мужа (классического итальяшки-жиголо моего возраста) моих сбережений должно было хватить лет на десять. Мне нужно было чем-то себя занять. Меня звали преподавать в Джульярд, но на музыке в любых ее проявлениях я поставил крест.

Пройдоха Левка Карпинский (с его семьей мы познакомились лет сто назад на перевалочном пункте в Римини) устроил меня преподавать русский язык в некий международный фонд по укреплению каких-то связей. Левка знал всех, он отпустил рыжую бороду и работал профессиональным защитником интересов Израиля в США и даже пару раз летал в Иерусалим.

На книжном развале у Юнион-сквер я раскопал русско-английский разговорник для туристов за три доллара, и он стал в моем классе базовым учебным пособием.

Мария была безнадежна: она умудрялась даже в односложном слове поставить ударение не туда. Акцент ее звучал гротеском, половину русских букв она выговаривала как заблагорассудится, «ж», «ч» и особенно «щ» так и не покорились никогда. Звонкое «р» в моем имени превращалось в пюре из авокадо, впрочем, мне было все равно. Я механически отметил матовость кожи и тонкость ее лодыжек. Жизнь текла мутно и беззвучно, события происходили вне меня, я пребывал вне событий.

Закончился урок, я стоял у окна, разглядывая небо мышинного цвета. Дом на той стороне был уже наполовину в лесах, там бродили коренастые мексиканцы в ядовито-желтых касках. Мария подошла сзади и спросила, не соглашусь ли я поужинать с ней в среду. Ей хотелось получить частную консультацию по русскому языку (она так и выразилась), за ужин заплатит она, что и будет моим гонораром.

– В среду? – переспросил я.

По грязному снегу вытянулись фиолетовые тени, это солнце на миг протиснулось в небесную прореху. В среду я не мог: два раза в неделю ходил на принудительные сеансы психотерапии. Договорились на пятницу.

Ресторан оказался темный, тихий и дорогой. С фальшивыми венецианскими лампами тускло-рыжего цвета над каждым столом и сытыми официантами с плавными жестами. Про русский язык поговорить не удалось, что меня, как учителя-самозванца, вполне устроило.

Она развелась этим летом – сказала об этом скучно, слегка покручивая тонкими пальцами стройную ножку винного бокала. В рубиновой красноте плавал оранжевый блик от нашего персонального фонаря; я украдкой взглянул на Марию, оказалось, мы оба зачарованно следили за юрким огоньком. Она говорила, я кивал. Говорила, как мучительно стало общаться с друзьями-приятелями: или благодушное притворство, или изысканный садизм с жеманным ковырянием в душе. Постепенно перестаешь звонить, не отвечаешь на звонки. Слава богу, весь день на работе. «Работа?» – из вежливости спросил я. Думал, ассистент или референт, мелкая манхэттенская плотвичка. Не тут-то было: Мария возглавляла аналитический отдел здорового банка, имя которого знал даже я. Так добрались до десерта.

Потом отвесно падал снег, мохнатый и ленивый. Мы тихо брели по примолкшему ночному городу, головы и плечи постепенно обрастали пушистым и белым. Неуклюжие боль-

шие снежинки цеплялись за ее ресницы, висели, не тая. Я рассказал про госпиталь, про соседа по палате – развеселого негра, который пытался отравиться газом, сунув голову в духовку.

Ноги ступали беззвучно, словно мы гуляли по пуху, желтые фонарные круги, аккуратно разложенные по тротуару, увели нас в закоулки Гринвич-Виллидж. Вспомнив совсем давнее, рассказал про Гнесинку, наши снежные битвы после уроков – клавишники против духовиков, после сражения все неслись гурьбой на крутую горку и до одури гоняли на нотных папках по свинцово-зеркальному льду.

– Странно... – Мария внимательно посмотрела на меня. – Я думала, ты учитель. Похож. А ты, оказывается...

– В сущности, – перебил я ее, – все это неважно.

Мне пришлось рассказать про руку, про чертов велосипед, про амстердамских костоправов. Я был очень благодарен Марии, что она не пыталась ободрить меня, а просто поцеловала в щеку сухими горячими губами.

## 4

Орган протрубил финальный аккорд, могучий ре-минор взлетел под купол храма и там величаво растаял. Зал замер, словно в изумлении, но тут же, опомнившись, грохнул аплодисментами. Этот миг, это мгновение тишины перед овацией меня добило: в горле стоял ком, я что-то буркнул Марии – та, продолжая хлопать вместе со всеми, удивленно посмотрела на меня. Я уже спешно протискивался к выходу. Скуластый швейцар, похожий на монгола, взглянул неодобрительно, но все-таки распахнул двери в темноту.

Я жадно вдохнул – зычно, со всхлипом, словно вынырнул с глубины. Воздух был сырой и холодный. Старушка в потертом лисьем жакете испуганно отпрянула, она слушала музыку через закрытые двери. Я сбежал по мокрым ступеням, с ярмарки доносилось веселое уханье барабана, над шатрами высилась черная елка с мутной колючей звездой. Дождь нащупал наконец свой ночной ритм и теперь безнаказанно мог лить до рассвета.

Я пересек Фридрихштрассе, хотел вернуться в отель, у самых дверей развернулся и быстро пошел в сторону Унтер-ден-Линден. На мостовой лежали желтые отсветы витрин закрытых магазинов, прохожих не было. У книжного ко мне прицепился нищий, мордатый, с мокрой челкой. Дышал мне в лицо кислым пивом, ругаясь по-немецки и требуя денег, проводил до перекрестка.

Я проскочил мимо тусклого окна какого-то бара. За стеклом застыл манящий покой, янтарный и тягучий. Я вернулся, толкнул дверь. Внутри оказалось темно и тесно.

Человек за стойкой одним плавным жестом выудил стакан, кинул лед и наполнил стакан бурбоном. Я влез на табурет и сделал большой глоток. Огляделся. Рядом сидел нахохленный англичанин, носатый и пьяный, похожий на портрет Листа из кабинета сольфеджио на третьем этаже. Тогда у меня были нелады с Листом, третья рапсодия. Сделал глоток, незаметно разглядывая британца.

– Алкоголь продолжает доставлять вам удовольствие? – спросил он неожиданно трезвым голосом с оттенком почти светской учтивости.

Я вызывающе хмыкнул, звякнул ледышками в стакане и медленно допил бурбон.

– Я не пил четыре месяца. – Он повернулся в профиль и стал похож на индейца с крепко сжатыми лиловыми губами. – Просто не хотел. И не пил.

Он сидел у окна, за ним влажно блестела черная берлинская ночь с молочными хвостами фонарей в мокром асфальте. Лампы тускло дымились паром.

– Как вы относитесь к людям? – Он сделал глоток, звонко поставил стакан на мрамор стола.

– Сожалею, что к ним отношусь.

Разговор явно загибал в сторону шаблонного философствования барного пошиба.

– О! – «Индеец» оценил юмор и с интересом повернулся, на крутой лоб упал лимонный блик. – В книжном магазине у меня ломит зубы, там вся эта дрянь, знаете, «Как стать богатым», «Как найти внутренний покой», «Как завоевать друзей и сделать карьеру».

Я согласно мотнул головой, бесшумный бармен тут же долил мне бурбона, приняв сигнал на свой счет.

– А я вот хочу написать... – он снова повернулся в профиль, – честную книгу, без соплей и вранья. Допустим... – он растопырил ладонь в ночное окно, – такой титул: «Умеренность – на хер! Работу и карьеру – в задницу! И не думай стать богатым: все равно все деньги у тебя отберут так или иначе».

– Вы писатель? – вкрадчиво спросил я и, не удержавшись, добавил: – Или анархист?

– Какие темы... – Он не обратил внимания на мое ехидство. – Как мало времени... Человеческая недолговечность определяет каждый аспект нашей жизни. Страх смерти становится страхом жизни.

Он наклонил голову, в глазу по-волчьи сверкнуло. Я незаметно сглотнул.

– Чем больше ты страшишься смерти, тем меньше в тебе остается жизни. Ты боишься жить. Страх смерти – он как страх темноты. Ты думаешь: если это случится со мной, как это будет, что я буду делать? С ума сойду от ужаса? Или что-то похуже?

Он замолчал. За его спиной в ночи неожиданно расцвела винно-красная гирлянда, по ней побежали искры огней, золотистых, лазоревых, из вензелей возникли буквы – «Вай-нахтен». Я машинально сделал глоток, на секунду мне почудилось, что сейчас, именно в этот момент, я узнаю что-то важное, какую-то главную тайну жизни.

– Или что-то похуже... – Он запнулся, гирлянда за окном налилась малиновым и вдруг погасла. – Но узнать об этом ты сможешь только тогда. И не раньше.

Мне стало скучно. Я бы мог рассказать ему, но произносить слова показалось вдруг невыносимо тяжким трудом. Я бы мог рассказать, что ничего похуже там нет, что там вообще ничего нет. Нет ни туннеля, ни божественно-лучистого сияния в конце, нет никаких существ, сотканных из добра и света, радушно встречающих тебя. Что весь процесс умирания не более занятен, чем обычное засыпание. И что там – там просто ничего нет. Ровным счетом ничего.

Я полез за бумажником, раскрыл, пытаюсь разобраться в радужных купюрах. Вытащил новенькую сотню, скользкую, с тонким ароматом машинного масла для денежных станков. Ожидая сдачи, запахнул пальто, скупно кивнул британцу – он меня здорово разочаровал. Всплыла мелодия с самовара, я просвистел два такта, замолчал. Неожиданно англичанин отозвался, просвистел еще два, а концовку пропел, удачно подражая Синатре:

– But you won't see Mackie's flick knife, Cause he's slashed you and you're dead.

Господи, конечно! Это был Мэкки-Мессер. Мэкки-нож из «Трехгрошовой оперы» Брехта. На самоваре были выгравированы два первых такта арии:

У акулы зубы – клинья,  
Все торчат, как напоказ.  
А у Мэкки – нож, и только,  
Да и тот укрыт от глаз.

– Брехт, кстати, тот еще фрукт! – засмеялся британец сухо. – Тот еще! Вроде бы левак, а гнобил своих литературных холопов, что феодал. Любовницы жаловались на отсутствие элементарной гигиены, от него просто разило потом, об этом...

– Да черт с ним, – перебил я эрудита, – с Брехтом! Кто музыку к опере написал, кто композитор?

– О! – Он снова хитро сверкнул волчьим глазом. – Курт Вайль.

Ну точно, Вайль, Курт Вайль, как я мог забыть!

– Канинхен Курт? – спросил я. – Кролик? Это он?

– Хм! – Британец уважительно кивнул. – Весьма приватная информация, обычно американцы не столь любознательны. Да и на историка вы, пожалуй, не сильно похожи.

Я пытался вспомнить второе имя, женское.

– Этот Курт, он жил здесь, в Берлине? – спросил я. – Это до Гитлера, да?

Англичанин с сожалением взглянул на меня.

– Берлин двадцатых – начала тридцатых – полный, разнузданный декаданс. – Он сделал паузу, словно пробуя слово на вкус. – Париж всем надоед, богема потянулась в Берлин. За писателями, художниками, музыкантами потащились их девки – полчища танцовщиц,

певичек и натурщиц. Проституток, прикидывающихся кинодивами. И проституток, никем не прикидывающихся. Следом заспешили нувориши, с ними в Берлин потекли деньги. На каждом углу открывался мюзик-холл, кабаре, на худой конец, кабак с танцульками и непременным джаз-бандом из настоящих негров. – Британец хмыкнул. – Которые в то время у вас в Алабаме и Теннесси батрачили на хлопковых полях, а тут становились звездами...

– Ну да, – отмахнулся я. – Да, Жозефина Бейкер...

– И она тоже...

– Так что про Вайля, – перебил я, – про Кролика Курта? Про оперу?

– Это позже, в двадцать восьмом. Вы представьте: в девятнадцатом году в Берлине сняли фильм «Не такой, как все» про страдания молодого гомосексуалиста, про ортодоксальность общественной морали. – Он выразительно глянул на бармена. – Сто лет назад! Каково?

Скучающего бармена словно включили, тут же пришел в движение отлаженный механизм откупоривания, наливания и перемешивания. Я кивнул, мне налили тоже.

– Но дело не только в гомосексуализме, Берлин стал европейским Содомом и Гоморрой. Разнузданная проституция – девки, дети, был даже бордель со старухами – на любителя. Устраивались балы, переходящие в оргии, кокаин и героин продавали, как леденцы. Да, и преступность! Шестьдесят организованных банд, входивших в ферайн, своеобразный бандитский профсоюз.

– Ну да. – Я усмехнулся. – Немцы! Порядок и организованность!

Англичанина звали Вилл, Вильям. Он оказался вполне симпатичным мужиком, начал в корпункте «Гардиан», теперь консультировал какие-то архивы. Уже одиннадцать лет не вылезал из Берлина. Пытался написать книгу, но пестрота и насыщенность местного материала мешали сфокусировать внимание на одной теме: начал с падения Стены, тут же отвлекся на «Штази» – когда открыли их архивы, оказалось, что каждый четвертый гэдээровец числился стукачом.

– Вот это тема! – горячился он. – Достойная Шекспира тема!

От «Штази» логично перешел к гестапо, начал рыться в архивах СС и погряз окончательно.

– Писать о том периоде беллетристику просто смешно! – Вилл был уже изрядно пьян. – Смешно и глупо! Фактический материал столь ярок, столь беспощаден и силен, что писательский разум просто не в состоянии адаптировать и трансформировать его во что-то более увлекательное. Хилая человеческая фантазия – она бессильна перед мощью исторического ужаса. Художник не в силах написать закат или извержение вулкана, он может состряпать лишь жалкую копию.

Я заказал третий бурбон. Знал, что наутро пожалею, но заказал все равно.

Мы долго прощались у дверей, несколько раз крепко жали друг другу руки, Вилл нацарапал свой телефон на каком-то обрывке, я поклялся, что позвоню завтра. В крайнем случае, в четверг. Потом пошел в сторону отеля.

Дождь перестал, и заметно похолодало, прохожих не было, прямая Фридрихштрассе уходила в непроглядную темень. У меня в голове непрерывно крутилось:

У акулы зубы – клинья,  
Все торчат, как напоказ.

«Трехгрошовая опера» оказалась не более чем конъюнктурной поделкой. Ответом на социальный заказ общества. Берлинцы двадцатых сходили с ума по криминальной тематике, особенно по «лустморг» – преступлениям с сексуальной составляющей; серийный убийца стал зловещей и притягательной фигурой, мрачные типы в надвинутых шляпах и поднятых

воротниками побрели по экранам синематографов и по сценам театров. Мэкки-Мессер был одним из них.

А у Мэкки – нож, и только,  
Да и тот укрыт от глаз.

Мне не терпелось поделиться с Марией открытием, рассказать про Кролика Курта, кстати, эту кличку ему прилепили девчонки из кордебалета «Пикадора», по сплетням, репетиции Вайля часто незаметно перетекали в оргии.

Витрины книжного тускло светились гигантскими обложками, к ним были приклеены бумажные снежинки. Следующий дом ремонтировали, я пошел под лесами сквозь дощатый коридор. Через равные промежутки висели рыжие строительные фонари в железных сетках, мои ботинки гулко ухали по деревянному настилу. Пахло мокрой известкой и сосновыми опилками. У самого выхода возник человек, я хотел посторониться, пропустить, но прохожий остановился:

– Мистер, битте, айнбисхен ташенгельд!<sup>4</sup>

Я узнал давешнего мордатого попрошайку. Похоже, и он узнал меня.

Я вытащил мелочь из пальто, протянул ему. Он не двинулся.

– Битте... – повторил он. – Битте меер<sup>5</sup>.

Половина лица была оранжевой, другая казалась черной дырой. Из-под мокрой челки на меня зло глядел глаз с рыжей искрой.

– Их ферштее нихт<sup>6</sup>. – Я шагнул вперед.

Мордатый не двинулся, лишь чуть сгорбился. Не вынимая рук из карманов пальто, повторил:

– Ферштее нихт... – и тихо, со злым азартом добавил по-русски: – Ниче, щас поймешь, гнида.

Он сделал шаг назад, я увидел в руке лезвие. Инстинктивно пятясь, я уже не мог отвести взгляд от ножа. У акулы зубы-клинья, все торчат, как напоказ – вот как оно бывает. Боком, стараясь не запнуться, я начал отступать по коридору.

Мордатый ощерился и крикнул:

– Серега!

На том конце забухали быстрые шаги. Я нехотя поднял руки, будто сдаваясь. Потные ладони дрожали, сердце частым молотком колотило в грудную клетку. С досадой подумал, что взял сдуру все деньги, которые поменял, чтоб не возиться с карточками. Вытащил из заднего кармана бумажник. Мордатый уставился на него, сплюнул и медленно подался вперед.

С самого раннего детства мне запрещали драться, я должен был беречь пальцы. Так и не научился драться на кулаках. Держа бумажник, я сделал шаг вперед, мордатый протянул руку. Я резко ударил его в пах ногой. С тупым звуком брякнулся нож. Мерзавец беззвучно сложился пополам, потом осел, мыча, завалился набок. Серега уже громыхал совсем рядом, я перескочил через мычащего и бегом понесся к Жандарменмаркт.

---

<sup>4</sup> Мистер, пожалуйста, немного мелочи (*искаж. нем.*).

<sup>5</sup> Пожалуйста, еще (*нем.*).

<sup>6</sup> Я не понимаю (*нем.*).

## 5

Лифт, распахнув двери, покорно ждал на первом этаже. Я пролетел мимо лифта, мимо сонного портье. Перескакивая через две ступеньки, взлетел к себе на шестой. Мария, в ореоле желтого света на снежной подушке, лежала, натянув одеяло до подбородка. Она читала. Подняла равнодушный взгляд и, перевернув страницу, снова уставилась в книгу.

– Меня хотели зарезать... – Я не мог отдышаться, голос сел. Фраза прозвучала глупо.

Она кивнула, не отрываясь от страницы. Я растерянно постоял в дверях, не снимая пальто, прошел в ванную и, повернув кран до упора, пустил холодную воду. Вытряхнул зубные щетки из стакана, напился. Сунул щетки обратно.

– Я узнал про самовар... Ты оказалась права, – вежливо садясь на край кровати, попытался подлизаться я. Безуспешно.

– Час ночи, – с усталым раздражением произнесла Мария, отгораживаясь книгой. С обложки на меня глядели черно-белые фашисты в бравых кокардах и крестах, по ним красной готикой было написано: «Гестапо – империя страха».

– Та-ак, – пробормотал я, медленно вставая и стягивая пальто.

Вернулся в ванную. Голова начинала болеть. Побросав одежду на шахматный кафель пола и старательно избегая зеркала, я залез под душ.

Там, в моментально вспотевшей тесной стекляшке, мне вдруг стало страшно: мордастый попрошайка, узкое лезвие, невидимый топотун Серега – весь ночной ужас догнал меня в душе. А у Мэкки – нож, и только, да и тот укрыт от глаз.

Отельное мыло лилипутских размеров выскользнуло, я опустил, пытаюсь нашарить его, да так и остался сидеть на корточках. Просто не мог встать. Меня бил озноб, я сидел под струями кипятка и трясся от холода. Сцепил пальцы, руки противно дрожали. Шрамы на запястьях проступили розовыми вздутыми полосками. «Надо не поперек, – говорил Джереми, мой черный сосед по палате, – надо жилу вдоль резать, вдоль. Вот тогда и толк будет», – добавлял он, сверкая веселыми сумасшедшими глазами.

Мария спала, спали бравые гестаповцы. На тумбочке и по кровати растекся сизый свет, за окном с торжественной наивностью оперной декорации сияла бледно-лимонная луна. Третий акт – ночь, площадь, церковь. Запахнув куций гостиничный халат, постоял у холодного стекла. Берлин тоже спал – ни прохожих, ни одного автомобиля, лишь упорно моргающий на перекрестке светофор.

Не снимая халата, я забрался под одеяло. Зеленые цифры часов показали сразу три двойки, в углу тускло мерцал латунный бок самовара. Засыпая, вспомнил давнишний август, нашу дачу. В соседней деревне горела конюшня. Деревня та звалась Жаворонки, с обрыва нам было видно, как мужики ловили лошадей. Солнце уже село, рыжее пламя улетало в лиловое небо, до нас доносились злые голоса и топот копыт. Тогда мне подумалось, что ничего более красивого я в жизни не видел. Соседская Ирка, Ирка Зорина, тронула мою руку, потом что-то прошептала; не расслышав, я повернулся и наткнулся на ее губы. Горячие, чуть обветренные. Той же ночью я их целовал, старательно и с неуклюжим пылом, мы сидели на хилой скамье в дальнем конце сада, у смородиновых кустов. На веранде, издали похожей на сцену из чеховской постановки, краснел абажур, забытые чашки застыли в патовой комбинации вокруг самовара. Соломенные стулья, эти представители праздного сословия дачной мебели, разбрелись по веранде, на спинке одного заснула мамина кофта вишневого цвета.

– Не так! Вот как надо! – хриловато шептала Ирка, я исполнительно подставлял губы, сложенные наивной уточкой.

Ирка была старше меня на два года. Еще у нее была сестра-первокурсница с сомнительной репутацией. Про репутацию я узнал, в начале лета подслушав родительский раз-

говор; сейчас эта порочная таинственность перешла и на младшую сестру, наполняя меня жутким предвкушением чего-то небывалого. Мокрый жар ее губ, детский дух земляничного мыла мешался с другим, горьковатым и бесстыдным, недетским запахом. От жесткой травы тянуло ночной сыростью, пахло сосновой корой, кончался август, кончалось лето.

Впрочем, кончалось не только лето: через четыре месяца я окажусь в Вене, потом – в Италии и, наконец, в феврале – в игрушечном городке с красивым именем Провиденс, штат Род-Айленд. Белые домики – над каждым флюгер, у кого стрела, у кого русалка, даже медный китобой с гарпуном, на площади будет островерхая церковь из красного кирпича, седого от утреннего инея, вокруг аккуратные елки. Добродушные собаки, резвые и с мокрыми носами. Улыбчивые горожане. Под ногами будет скрипеть снег, скрипеть так по-московски, что впоследствии окажется обычным бессовестным обманом, первым в длинном списке моих неизбежных разочарований.

Другое разочарование (из крупных) именовалось звонко: Эрин Купер. В российском доисторическом девичестве – Арина Куперман. На этой Куперман, юркой, с острыми лопатками, похожей на пронырливого цыганенка, я даже умудрился жениться. Дело было в Бруклине, нас туда занесло после неудач в Цинциннати (мой новый импресарио устроил мне тур по каким-то сельским клубам, а под конец стянул деньги и скрылся), стремительный роман с Ариной завершился мощной свадьбой еврейского фасона. Заправлял всем папаша Куперман, толстый и зычный, с рачьим взглядом, от него постоянно разило котлетами и жареным луком. У себя в Харькове он управлял чем-то продуктовым, кажется, складом или базой.

Свадьба вспоминается сном, экзотическим, почти африканским. Хупа, под которой Арина ходила вокруг меня, крики «Мазл тов!», хруст стакана под каблуком. Сомнительность моего еврейства никого не интересовала, невесте перевалило за двадцать пять, тут уже было не до формальностей. Йихуд оказался наиболее приятной частью церемонии: после обмена кольцами нас закрыли в тесной комнате, похожей на кладовку.

– Минут пятнадцать у нас есть.

Хитро улыбаясь, Арина шустро расстегнула пуговицы моих фрачных штанов.

Потом оказалось, что она говорит «ехай» и «сикать». Она таскалась за мной по всем гастролям, в каждом новом городе совершала налет на модные магазины, а после до полуночи изводила меня демонстрацией платьев и обуви. Вскоре в постели мне стал чудиться запах жареных котлет, а вокруг девичьих сосков я обнаружил несколько длинных черных волос.

В сентябре мы путешествовали по Флориде, на Сорок втором шоссе, у границы с Алабамой, наш «Форд» врезался в колонию мигрирующих бабочек. Монархи каждую осень перебираются в Мексику на зимовку. Я издали заметил серую дымку, подумал, что это пыльная буря. Бабочки врезались в ветровое стекло с противным хрустом, через минуту все оно было залеплено рыжими крыльями. Я сбросил скорость, включил дворники. Щетки размазывали пыльцу, давили бабочек, я брызнул водой, по стеклу жирно потекла серая жижа. Съехав на обочину, я заглушил мотор.

– Ну и что теперь? – зло спросила Арина. – Так и будем сидеть?

– Монарх, – глядя перед собой, ответил я, – единственная бабочка, способная пересечь Атлантический океан.

– У нас ресторан в Санта-Розе заказан на семь. А до Санта-Розы еще триста миль. С гаком.

У нее был южный выговор. Этот «гак» меня добил. Я вылез, хлопнул дверью и пошел сквозь бабочек на юг. Часа через два меня подобрал дальнобойщик на рефрижераторе. Он вез охлажденную свинину в городок Вальпараисо.

## 6

Завтрак подходил к концу. Ковырнув ложкой унылый венский бисквит, я попросил принести еще чаю. Коренастая официантка, скуластая и чуть косая, поглядев куда-то вбок, безразлично кивнула и ушла.

Мария делала вид, что читает «Берлинер цайтунг» (раздобыть «Нью-Йорк таймс» не удалось). Я разглядывал золоченую лепнину на потолке, там среди розовых облаков кружились ветчинного цвета купидоны. В состоянии похмелья стиль барокко показался мне визуальным издевательством. Вернулась косая немка, безмолвно поставила фаянсовый чайник. Из носика кокетливо струился пар.

– Филен данк<sup>7</sup>, – сдержанно поблагодарил я.

Официантка снова кивнула, не сказав ни слова, удалилась. Кроме нас, в ресторане никого не было. Пустым, впрочем, он не казался: в простенках висели зеркала в фигурных золоченых багетах, много зеркал. Отражения отражались в отражениях, и от этого зеркального безумия зал казался хитрым лабиринтом, нагромождением армии столов и стульев, уходящих в бесконечную перспективу через запутанные анфилады. Окно с видом на стройку выглядело спасением. Я сделал глоток и закрыл глаза. Чай тут был отменный.

– Кончай дуться...

– И не думаю. – Мария взглянула поверх газеты. – Что такое... фер... ферзаммлюнг?

– Собрание, – перевел я.

– Ага... – Она снова погрузилась в берлинские новости.

По безлюдной стройке сыпал серый дождик, среди мокрых лесов петляла толстая труба василькового цвета.

– Мне просто не совсем ясно, – почти приветливо начала Мария, оторвавшись от чтения, – как взрослый человек может вскочить посреди концерта и исчезнуть на пять часов? Не сказав ни единого слова? – Она посмотрела мне в глаза.

У нее были потрясающие брови; никогда раньше мне не приходило в голову, насколько важны правильные брови, особенно в идеальной пропорции с уверенной линией подбородка, не говоря уже о ювелирно отмеренной дистанции от розовой мочки уха до уголка губ. Я отвел взгляд: в зеркалах развернулась македонская фаланга укоризненных Марий.

Я отлично понимал, что никого лучше Марии мне не найти. Но именно в этом и заключалась главная беда: будь она какой-нибудь задрыгой, стервой или безмозглой куклой, я бы так и валандался с ней, пока наши отношения не докатились бы до банального тупика или не выдохлись сами собой. Мария была хорошим человеком. И я ее любил.

Похоже, вид у меня был совсем никудышный, Мария подалась вперед, тронула пальцами мою щеку.

– Ну что с тобой? – тихо спросила она. – Скажи...

Я вдохнул, облизнул губы.

– Нам с тобой нужно... – начал я, собираясь с мужеством, – нам нужно...

Неслышно появилась косая, стукнув блюдцем по столу, принесла счет, тут же начала звенеть ложками, убирая посуду. Я замолчал, глядя на Марию, чувствовал, как улетучивается моя решимость.

– Что? – переспросила Мария. – Что нам нужно?

– Нам нужно, – быстро ответил я, – нужно разузнать где-то про Курта Вайля. Про его любовниц.

– Ты что, действительно что-то узнал? Про самовар?

---

<sup>7</sup> Большое спасибо (нем.).

– Ну да! – оживился я. – Я же тебе вчера сказал!

– Вчера! – Мария фыркнула и добавила по-русски: – Вчера ты, мой дорогой, лика не вязал.

– Лыка... – по привычке поправил я.

– О'кей, фак ит, – перешла она на родной. – В чем там дело?

Наш план не задался с самого начала – антикварная лавка исчезла. Решив первым делом расспросить антикваршу Раневскую, мы отправились на нашу ярмарку. На Жандарменмаркт. Там все было как всегда: раскаленные жаровни и чугунные чаны с бурлящим глинтвейном, копченый дымный дух румяных сарделек мешался с пьяным ароматом корицы и муската, веселая девка в чистом переднике ловко тащила сразу дюжину литровых кружек баварского пива, карлик-француз в брусничном берете раздавал с доски мелко наструганные кружочки салями, за ним в шатре висели прокопченные до бронзового отлива окорока и колбасы всех форм и размеров из приграничного Страсбурга.

– Нет. – Мария крутила головой. – Не в этом ряду. Там по соседству торговали какой-то карамелью. Я помню запах.

Я не помнил ничего и уже окончательно запутался. Мы в третий раз миновали каменного поэта, на сцене продрогшие лабухи – тощий парень с электроорганом и готическая девица с лиловыми волосами и в непомерных солдатских сапожищах – пиликали что-то рождественское. Девица прижимала микрофон к синим губам, в нижней губе торчало несколько стальных колец, одно было в ноздре.

Свернули у елки, снова прошли мимо бренденбургских кренделей, за кренделями торговали солеными огурцами из огромных бочек, оттуда тянуло укропом и смородиновым листом. Следом шли деревянные поделки из Вестфалии: точеные ангелочки, медведи, козлята и прочая чепуха, тут заправлял матерый бородач с волосатыми ручищами и в фартуке из грубой свиной кожи. Он был похож на сказочного людоеда.

– Мне эта рожа будет сниться. – Я наклонился к Марии. – Мы тут уже были раз пять.

Людоед ухмыльнулся, протягивая Марии вестфальский сувенир – деревянного барана.

– Данке, данке, wunderшен! – Мария улыбнулась. – Битте найн<sup>8</sup>.

Далее следовал шатер стеклодува – прозрачные шары, сосульки всевозможной длины, стеклянные черти. За стеклодувом тощий немец с обвислыми усами грустно торговал кожаной всячиной: ремнями, кошельками. Потом шли каленые орехи, за ними – серебряных дел мастер с филигранной мелочевкой на траурно-бархатных подушках. В последнем шатре разливали глювайн.

– Мистика какая-то. – Мария засмеялась, смех получился какой-то растерянный. – Ты что-нибудь понимаешь?

Виночерпий поймал мой взгляд и начал корчить зазывные рожи, плавно помешивая черпаком ароматное пойло. Я сдался и кивнул.

– Я думаю вот что... – Обжигаясь, я сделал глоток, потом еще один. – Скорее всего, нашу старуху убили.

Мария застыла.

– Дело в том, что старуха не знала тайну самовара...

– Какую тайну? – перебила она.

Я невозмутимо повторил:

– Дело в том, что старуха не знала тайну самовара. – Горячее вино сразу шибануло в голову, я отпил еще. – Вайль, композитор, после прихода нацистов к власти оказался сообразительней других. Может, внимательно прочитал «Майн кампф», изучил национальную политику фюрера...

---

<sup>8</sup> Спасибо, спасибо, восхитительно!.. Пожалуйста, не надо (*искаж. нем.*).

Мария слушала, покусывая нижнюю губу.

– Он решил бежать. Нацисты не давали евреям вывозить...

– С чего ты взял, что он еврей?

– Конечно, еврей! – В кружке осталось меньше половины.

– У вас, русских, все евреи, – возмутилась Мария. – В кого ни ткни – непременно еврей!

– Ну... – Я благодушно кивнул. – Мы будем обсуждать мою славянскую неполиткорректность или...

– Ладно, ладно!

– Короче, хитрый Вайль дарит самовар своей арийской любовнице, сам эмигрирует, допустим, в Швейцарию. Где и ждет свою, допустим, Гретхен. Но коварная Гретхен решила не ехать в Швейцарию...

– При чем тут самовар?!

– Самовар из чистого золота. – Я допил глинтвейн, на дне оказались какие-то крошки, я сплюнул на мостовую и вытер губы. – Курт Вайль все свое состояние вложил в золото, в тайной берлинской мастерской умелец из Тулы, бывший белогвардеец по фамилии, предположим, Красовский выковал ему самовар... Красовского, кстати, Вайль впоследствии зарезал. Для сохранения тайны. Курт все правильно рассчитал, он, этот композитор, все учел. Все. Кроме женского коварства...

Удивление на лице Марии сменилось растерянностью, растерянность – негодованием, под конец она расхохоталась. Притянув за шарф, поцеловала меня в шею.

## 7

У меня не было ни малейшего желания тащиться в Трептов-парк: к кладбищам и пантеонам я отношусь без интереса, а о решающей роли советского народа в победе над фашизмом был осведомлен уже в детском саду. Однако мероприятие было запланировано Марией еще в Нью-Йорке.

Я посетовал на дождь, долгую дорогу, предложил исторический музей и Пергамон – на выбор. Особенно напирал на Пергамский алтарь, мол, это тоже мемориальный памятник, посвященный военной победе над французами, когда те звались галлами и были варварами.

– Плюс это самый знаменитый памятник эллинской истории, – быстро говорил я на подходе к метро. – Не говоря уже о культурно-художественном значении. Вся западная цивилизация пошла оттуда! Вся культура! Битва олимпийских богов с титанами – Зевс, Афина, Геракл сражаются со змееголовыми гигантами. А знаешь, как обнаружили его, этот алтарь? Вообще феерия!

Мария заинтересовалась, даже замедлила шаг.

– Археолог-любитель сколотил сумасшедший капитал в России, спекулировал селитрой и сахаром, потом переключился на бумагу. Был страшным проходимцем, Александр II хотел его даже повесить за воровство.

Все, связанное с Россией, Марию гипнотизировало.

– Ему удалось бежать в Германию и вывезти деньги. У него была идея – найти Троя. Он на все деньги снаряжает экспедицию...

– Погоди-погоди, – перебила Мария. – При чем тут Троя?

Я запнулся, внезапно сообразив, что перепутал недоучку авантюриста Шлимана с достойным археологом и инженером Хуманом.

Миновали трамвайные рельсы, сырую сталь, впаянную в плотную кладку мостовой. У входа на станцию Мария развернула план метро, прячась под навесом, стала изучать маршрут. Из булочной вышла девчонка в ярко-желтых ботах, я посторонился, пропуская ее. Пахнуло свежим хлебом.

В соседней витрине растерянно толпились голые манекены, бледный, но все-таки живой паренек с татуировкой на шее пытался наряжать их. К стеклу кто-то прилепил стикер – красные буквы на черном: «Кайн секс мит наци»<sup>9</sup>; мне тут же вообразилась жопастая блондинка в чине унтершарфюрера, чернильно-черная униформа, перетянутая тугой сбруей португали. Щелкнув каблуками и вскинув руку, нацистка исчезла. У входа в аптеку произошла какая-то суматоха, кто-то кого-то толкнул, какие-то яблоки покатались по мостовой, мне показалось, в толчее я узнал ночного бандюгу, моего мордатого Мэкки-Мессера.

– Все ясно, пошли. – Мария дернула меня за рукав. – Нужен верхний уровень, красная линия. Не У-бан, а Эс-бан. Восемь станций по прямой.

Поезд катил через город, я сидел напротив Марии, она смотрела в окно, по ее отражению в стекле капли чертили кривые линии. Пролетела Александерплац, телевышка нависла и унеслась, мы даже не успели ее рассмотреть. Вид загородила кирпичная стена с гигантскими готическими буквами невозможного начертания, пронеслись непрочитанные буквы, мы на миг влетели в грохот туннеля, выскочили на волю. Ухнув, распахнулась даль – рыжие крыши, мутная река с баржей, мост.

– Гляди! – Мария ткнула пальцем в стекло.

Кирпичный мост с островерхими башнями походил на рыцарский замок. Поезд плавно вкатился под высоченный стеклянный купол; «Ост-бан-хоф», – по слогам прочитала Мария.

---

<sup>9</sup> «Никакого секса с нацистами» (нем.).

Двери, вздохнув, расползлись, кто-то вышел, кто-то вошел, в другом конце вагона пронзительно заорал младенец, азиатка с жирными круглыми щеками уселась по диагонали. Она с напором тараторила в телефон бесстыже-розового цвета. Мой взгляд уткнулся в чью-то руку, ухватившую поручень. Кисть была изуродована шрамами, на месте большого пальца торчал круглый пене́к, обтянутый тугой кожей. Стальные часы, манжет, локоть, плечо – я добрался до лица, из-за воротника на меня пристально глядел недобрый серый глаз. От виска к шее тянулся длинный шрам, даже не шрам, а складка, в которой исчезло ухо. Уха просто не было. Не знаю, что было на моем лице, – брезгливость, наверное. Калека перевел взгляд на Марию и зло отвернулся.

Восьмая остановка, узкая платформа. Мы спустились по гулкой железной лестнице. Вышли наружу.

– Мы должны сюда вернуться летом. – Мария, задрав голову, щелкнула камерой. – Смотри, какие роскошные деревья!

Дождь почти перестал. Мы шли по просторной аллее, высокой от посветлевших туч и ажурной путаницы голых веток над головой. По бокам чернели мокрые стволы старых кленов, на коре, как и положено, с северной стороны рос сочно-зеленый мох. Мария, приблизив камеру почти вплотную, щелкнула мох, показала мне. Красиво, кивнул я.

Над деревьями, в бледно-серой дали, появилась каменная голова, там солдат-исполин держал на руках спасенную девочку. В другой руке он сжимал меч, под сапогом скрючилась свастика. Свастику и меч из-за деревьев видно не было, я просто помнил. Мы прошли под аркой с коваными венками и звездами, навстречу попала школьная экскурсия, класс пятый. Тощий учитель, похожий на стручок, негромко что-то рассказывал занудным голосом. Я попытался представить, какие слова говорит очкастый немец в лыжной шапочке своим немецким ученикам относительно всей этой невеселой истории.

Мы вышли на площадь, Мария остановилась и застыла. После уютной тесноты парка мемориал оглушал нечеловеческими пропорциями – бескрайнее поле кладбища, окруженное мраморными глыбами барельефов, упиралось в гранитную лестницу, которая вела на крутой курган с циклопическим солдатом. В постаменте памятника находился то ли мавзолей, то ли часовня. Туда по лестнице взбирался человек, взбирался долго, с упорством муравья; ростом человек был не выше солдатского каблука.

– А ты говоришь «Пергамский алтарь»... – тихо выдохнула Мария.

Мы двинулись в сторону солдата-великана, Мария останавливалась у мраморных глыб, старательно читала русские слова, выбитые в камне:

– ...Сам-о-отвеженн... ой бор... бой спас наро... ди Еуро́пи от фашистски-их по-гро-м... чико́ф... Что такое «по-гром-чи-ков»?

– Погромщиков.

Я подошел к камню, разглядывая языческий аскетизм барельефов, – плоские солдаты-близнецы, все в профиль, шли в штыковую атаку.

– Советский народ своей самоотверженной борьбой, – менторским голосом читал я, – спас цивилизацию Европы от фашистских погромщиков. В этом великая заслуга советского народа перед историей человечества. Сталин.

– Что значит по... гро... мо... Ну, это слово? – не унималась Мария.

– Виссарионыч – грузин, русский знал неважно, – потирая ладони, сказал я. – Пойдем к солдату, холодно. Знаешь, кто позировал скульптору? – Я кивнул в сторону великана. – Повар.

– Какой повар? – Мария недоверчиво стала листать путеводитель.

– Повар советской комендатуры Берлина. А потом он стал шеф-поваром «Праги» – был такой ресторан в Москве.

Мария раскрыла путеводитель, зашелестела страницами. Нашла:

– Тут ничего про повара нет, тут написано, что скульптор Ву... тщетич, вот черт, изобразил солдата Николая Масалова, который во время штурма Берлина в апреле сорок пятого, рискуя жизнью, действительно спас трехлетнюю девочку. Сталин посоветовал скульптору вместо автомата дать солдату меч, символизирующий высказывание русского князя Александра Невского: «Кто с мечом к нам придет, от меча и погибнет». И никакого повара. – Мария опустила путеводитель. – Кто такой этот Александр?

– Князь. Викинг.

– Какой викинг? Швед? Тут написано – русский. – Мария упрямо посмотрела на меня.

– Мало ли что там написано, – махнул я рукой. – Написано! Русские сами позвали варягов управлять собой.

– Как это? – недоверчиво спросила Мария. – Зачем?

– А затем! – Я вспыхнул. – Посмотри всю русскую историю! Это же история рабства! Рабства и унижения. Их кнутом по морде стегают, а они в ноги кланяются и сапоги целуют! Царю, Сталину, коммунистам, теперь гэбэшной шусере. Холопы!

– Замолчи! – с тихой угрозой произнесла она. – Как ты смеешь? Тут... – она топнула каблуком в мокрый щебень, – тут лежат тысячи солдат, твоих земляков. Таких же, как ты... Большевики, коммунисты – какая разница? Это люди, они пошли на войну, и они погибли. Люди, понимаешь? Люди! – Мария быстро пошла в сторону кургана. Приостановилась, обернувшись, хрипло выкрикнула: – Три года вместе живем, а иногда мне кажется, я тебе не знаю! Вообще!

«Вот же! Вот оно! – завопил мне бес в ухо. – Уходи! Поймай такси, сложи вещи – и в аэропорт! Жми! Прямо сейчас».

– Да, да... – отмахнулся я от беса и поплелся за Марией.

## 8

Я догнал ее только на кургане, в поминальной комнате. Мария разглядывала мозаику. Я шаркнул подошвой – даже не обернулась. Сцепив за спиной руки, пошел по кругу. Мозаичные узбеки, грузины и латыши в разных национальных костюмах, но с одинаковыми лицами держали мозаичные венки над могилой русского солдата. Там еще был усатый рабочий в ультрамариновом комбинезоне, наверное, тоже русский, и его безусый брат-близнец в военной форме и с мозаичным автоматом. Я задрал голову, сверху тускло светила трехметровая люстра, она была сделана в виде ордена Победы, того, что с бриллиантами.

Вышли. Снаружи снова заморосило, ступеньки мокро блестели, Мария оглянулась на нависшего серого исполина, зябко повела плечами.

– Весь этот мрамор и гранит, – проговорил я в затылок Марии, – это все из Рейхсканцелярии. Вон те знамена, у входа, сделаны из красного гранита, которым был облицован кабинет Гитлера.

Мы шагали по ступенькам, Мария впереди. Она остановилась и внимательно поглядела на меня.

Возвращаться той же дорогой не хотелось, мы решили пройти парком. За распахнутыми настежь коваными воротами начиналась щебневая дорожка. Она шла под уклон. Гравий мокро хрустел, неубедительно прикидываясь морской галькой. Между стволами тускло блеснула вода, мы спустились к пруду, здесь к горькому запаху мертвых листьев добавился болотный дух. Две скучные утки у того берега застыли в сухих камышах. Из пруда вытекал широкий ручей, мы прошли по горбатому мосту, украшенному двумя каменными зайцами. Одному зайцу кто-то накрашил губы помадой. Мария засмеялась, достала камеру и щелкнула зайца.

Пошли дальше. Впереди, прихрамывая, брел сутулый здоровяк, мы с Марией, не сговариваясь, прибавили шаг и обогнали его. Я мельком взглянул и узнал безухого из метро. Тот шел, сосредоточенно опустив голову, сжимая в изуродованной руке складной черный зонт с массивной ручкой. Я потянул Марию, мне не хотелось, чтоб она видела эти шрамы.

Свернули в боковую аллею. Кто-то вспугнул ворон, они, шумно ругаясь, принялись кружить над макушками голых кленов. В бледном просвете я заметил людей, три темные фигуры. Они спешили. Петля между стволами, шагали по мокрым листьям. Люди шли по диагонали нам наперерез. Я оглянулся, тропинка сзади была пуста. Мария подняла с земли кленовый лист, большой, похожий на узорный кусок пергамента. Показала мне, я что-то ответил. Люди были уже совсем близко, в одном я узнал мордатого попрошайку с Фридрихштрассе. Того, с ножом.

Ноги бессильно запутались, остановились, тошнотворная слабость подкатила к горлу, я машинально сжал руку Марии. Она удивленно посмотрела на меня, увидев людей, оглядела их простодушным взглядом, потом снова вопросительно посмотрела на меня.

Мордатый остановился, двое других обходили нас, перекрывая дорожку. Мария поправила волосы домашним, наивным жестом. Мордатый пнул листья, он запыхался и тяжело дышал, приоткрыв рот. Из распахнутого драпового воротника пальто торчала бледная желтоватая шея с острым кадыком.

– Вот так... – Он сплюнул и вытер рот рукой, другая, правая была в кармане пальто. – Гутен таг.

Вороны уgomонились, над парком повисла тишина, плотная и сырая. Донесся призрачный перестук колес, похоже, поезд следовал в какой-то параллельной вселенной.

– Их хабе гельд...<sup>10</sup> – картонным голосом произнес я.

– Натюрлих. – Мордатый ощерился.

Он кивнул человеку за моей спиной, я инстинктивно обернулся.

Тут же парк разлетелся вдребезги, разлетелся вместе с моей головой, боль ослепила, словно я пялился в прожектор. Раскаленный добела свет накрыло чернотой, сквозь муть я вплотную увидел мокрые камушки гравия. Надо встать, непременно встать... Я попытался подняться, тут в ребра вломили, будто молотом, внутри все лопнуло, задыхаясь, я раскрыл рот, но воздуха не было.

– Полегче, полегче, – обыденно проговорил чей-то голос. – Не отключай его, пусть полнобуется.

Мария закричала. Мне на спину кто-то рухнул, придавил коленом к гравию. Ухватив за волосы, поднял мою голову. Я увидел Марию. Здоровый мужик, на голову ее выше, заламывал ей руки. Мария закричала снова. Он быстро зажал ей рот ладонью.

– Серый! Видно этому? – весело спросил мордатый.

Он сплюнул, подмигнул мне:

– Тебе хорошо видно?

– А то! – заржал Серый. – Видно, Толик, видно.

Серый еще сильнее дернул меня за волосы, в шее что-то хрустнуло.

– У-у, сучка! – вдруг взвизгнул здоровяк, державший Марию. – Кусается!

Мордатый Толик резко размахнулся, шлепнула звонкая пощечина.

– А вот кусаться не надо, фрау мадам! – Он подул на ладонь. – Нехорошо кусаться.

Он загородил Марию своей спиной. Затрещала ткань, Толик откинул разорванный лифчик, я зарычал, дернулся. Серега снова заржал и еще сильнее ввинтил чугунное колено мне в лопатку. Мария брыкалась, мордатый Толик снова ударил ее, потом нагнулся, рванул. Юбка задралась, я увидел бледный живот, рыжеватые волосы на лобке. Рваные колготки сползли до колен, ноги, по-детски белые, бессильно разъехались.

Толик распахнул пальто, звякнул ремнем. Начал рыться у себя в ширинке. Я рванулся, Серега, крикнув, ударил мне в ухо. От громового звона голова вдруг распухла, все звуки пропали, остался лишь густой шершавый бас. Я попытался высвободить руку, ударить Серегу. Вдруг передо мной возникли чьи-то ботинки, я услышал гулкую оплеуху, будто били в боксерскую грушу. Серега дернулся, медленно разжал пальцы, колено съехало, он обмяк и завалялся набок. Его голова беззвучно ударилась о камни, из-под волос на щеку вытекла яркая красная полоска.

Ботинки хрустнули гравием, исчезли. Справа метнулась черная фигура. Пытаясь встать, я видел, как Толик, придерживая штаны, локтем старался закрыть голову. Незнакомый ловко подскочил и ударил Толика в горло короткой палкой. Не палкой – это был складной зонт. Толик упал на колени, качаясь и хрипя, схватился за горло. Незнакомый наклонился, резко и безжалостно двинул Толика в челюсть. Там хрустнуло, Толик осел, рухнул на спину, раскинув руки. Я поднялся, оступился, упал снова. Пополз на карачках к Марии. Я видел, как здоровяк, бросив ее, побежал в сторону станции.

---

<sup>10</sup> У меня есть деньги (нем.).

## 9

Неопрятная рыжая сестра, с пухлыми пальцами с облупившимся лаком, вколола мне какую-то дрянь. Меня тут же развезло. В голове продолжало неумолимо гудеть, волнами накатывал гул, в промежутках по-комариному звенел вакуум. На полу (линолеум, фальшивый мрамор) валялся потрепанный номер «Шпигеля» за август с взъерошенной Меркель на обложке.

Окружающее возникало отдельными кадрами, словно кто-то показывал не очень резкие фотографии. Сестра ушла, дверь закрылась. Потом беззвучно распахнулась опять.

Появился доктор, молодой и нервный, на подбородке – порез от бритвы. Его английские слова, казалось, были наскоро выструганы из светлого дерева вроде березы.

– У вашей жены шок, – с ясным стуком посыпались чурбачки. – Но ничего опасного. Она спит. Мы ее оставим до утра.

Мой язык издал какой-то французский звук, хотя я хотел просто сказать «спасибо».

Потом я проснулся на узком лежаке в тесной комнате без окон; сбоку горела сумрачная лампа, похожая на вагонный ночник. Кто-то накрыл меня суконным одеялом, от которого воняло псиной. Тупо ныло плечо. Подняв руку, я приблизил циферблат к глазам: стрелки показывали два ноль пять. По стеклу шла трещина, я приложил часы к уху. Расстегнул ремешок, сунул мертвый механизм в карман. Надо встать и найти Марию, у нее шок, но ничего опасного, подумал я и заснул снова.

Проснулся опять, долго лежал без единой мысли, пялясь в потолок. Постепенно шершавая побелка стала походить на снежную пустыню, я почти убедил себя в этом. По снегам оранжевым веером раскрылся осторожный рассвет, раскрылся и тут же погас, звякнув дверным замком.

## **Конец ознакомительного фрагмента.**

Текст предоставлен ООО «ЛитРес».

Прочитайте эту книгу целиком, [купив полную легальную версию](#) на ЛитРес.

Безопасно оплатить книгу можно банковской картой Visa, MasterCard, Maestro, со счета мобильного телефона, с платежного терминала, в салоне МТС или Связной, через PayPal, WebMoney, Яндекс.Деньги, QIWI Кошелек, бонусными картами или другим удобным Вам способом.